

В.М. Гаршин

**Из воспоминаний рядового
Иванова**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84
Г21

Г21 **Гаршин В.М.**
Из воспоминаний рядового Иванова / В.М. Гаршин – М.: Книга по Требованию, 2021. – 36 с.

ISBN 978-5-4241-2786-1

В основу военных рассказов Гаршина легли собственные жизненные впечатления автора. Гаршин был рядовым в армии, испытал на себе все тяготы солдатской жизни, участвовал в боях, был ранен. Вот что рождало достоверность изображения им армейской жизни. Столь правдивое – свободное от штампов, от риторики – описание армии и войны требует художественной смелости, изощрённого мастерства. Писать правду о войне – это не только нравственное требование, но и трудная художественная задача. В решении её Гаршин опирался на новаторские завоевания Л. Толстого, реализованные в «Севастопольских рассказах».

ISBN 978-5-4241-2786-1

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2021
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2021
© В.М. Гаршин, 2021

Гаршин Всеволод Михайлович
Из воспоминаний рядового
Иванова

Четвертого мая тысяча восемьсот семьдесят седьмого года я приехал в Кишинев и через полчаса узнал, что через город проходит 56-я пехотная дивизия. Так как я приехал с целью поступить в какой-нибудь полк и побывать на войне, то седьмого мая, в четыре часа утра, я уже стоял на улице в серых рядах, выстроившихся перед квартирой полковника 222-го Старобельского пехотного полка. На мне была серая шинель с красными погонами и синими петлицами, кепи с синим околышем; за спиною ранец, на поясе патронные сумки, в руках тяжелая крынковская винтовка.

Музыка грянула: от полковника выносили знамена. Раздалась команда; полк беззвучно сделал на караул. Потом поднялся ужасный крик: скомандовал полковник, за ним батальонные и ротные командиры и взводные унтер-офицеры. Следствием всего этого было запутанное и совершенно непонятное для меня движение серых шинелей, кончившееся тем, что полк вытанулся в длинную колонну и мерно зашагал под звуки полкового оркестра, гремевшего веселый марш. Шагал и я, стараясь попадать в ногу и идти наравне с соседом. Ранец тянул назад, тяжелые сумки — вперед, ружье соскакивало с плеча, воротник серой шинели тер шею; но, несмотря на все эти маленькие неприятности, музыка, стройное, тяжелое движение колонны, раннее свежее утро, вид щетины штыков, загорелых и суровых лиц настраивали душу твердо и спокойно.

У ворот домов, несмотря на раннее утро, толпился народ; из окон глядели полураздетые фигуры. Мы шли по длинной прямой улице, мимо базара, куда уже начали съезжаться молдаване на своих воловьих возах; улица поднималась в гору и упиралась в городское кладбище. Утро было пасмурное и холодное, накрапывал дождик; деревья кладбища виднелись в тумане; из-за мокрых ворот и стены выглядывали верхушки памятников. Мы обходили кладбище, оставляя его вправо. И казалось мне, что оно смотрит на нас сквозь туман в недоумении. «Зачем идти вам, тысячам, за тысячи верст умирать на чужих полях, когда можно умереть и здесь, умереть покойно и лечь под моими деревянными крестами и каменными плитами? Оставайтесь!»

Но мы не остались. Нас влекла неведомая тайная сила: нет силы большей в человеческой жизни. Каждый отдельно ушел бы домой, но вся масса шла, повинаясь не дисциплине, не сознанию правоты дела, не чувству ненависти к неизвестному врагу, не страху наказания, а тому неведомому и бессознательному, что долго еще будет водить человечество на кровавую бойню — самую крупную причину всевозможных людских бед и страданий.

За кладбищем открылась широкая и глубокая долина, ухидившая из глаз в туман. Дождь пошел сильнее; кое-где, далеко-далеко, тучи, раздаваясь, пропускали солнечный луч; тогда косые и прямые полосы дождя сверкали серебром. По зеленому склону долины ползли туманы; сквозь них можно было различить длинные, вытянувшиеся колонны войск, шедших впереди нас. Изредка блестящие кое-где штыки; орудие, попав в солнечный свет, горело несколько времени яркою звездочкою и меркло. Иногда тучи сдвигались: становилось темнее; дождь шел чаще. Через час после выступления я почувствовал, как струйка холодной воды побежала у меня по спине.

Первый переход был невелик: от Кишинева до деревни Гаурени всего восем-

надцать верст. Однако, с непривычки нести на себе фунтов двадцать пять-тридцать груза, я, добравшись до отведенной нам хаты, сначала даже сесть не мог: прислонился ранцем к стене да так и стоял минут десять в полной амуниции и с ружьем в руках. Один из солдат, идя на кухню за обедом, сжалившись надо мной, взял и мой котелок; но когда он пришел, то застал меня спящим глубоким сном. Я проснулся только в четыре часа утра от нестерпимо резких звуков рожка, игравшего генерал-марш, и через пять минут снова шагал по грязной глинистой дороге, под мелко сыпавшим, точно сквозь сито, дождем. Передо мною двигалась чья-то серая спина с навьюченным на нее бурым телячьим ранцем, побрякивавшим железным котелком и ружьем на плече; с боков и сзади тоже шли такие же серые фигуры. Первые дни я не мог отличить их друг от друга. 222-й пехотный полк, куда я попал, состоял большею частью из вятских (вячких, как они говорили) и костромских мужиков. Все широкие, скуластые лица, побуревшие от холода; серые небольшие глаза, белокурые, бесцветные волосы и бороды. Хотя я и помнил несколько фамилий, но кому они принадлежат — не знал. Через две недели я не мог понять, как я мог смешивать двух своих соседей: одного, шедшего рядом со мною, и другого, шедшего рядом с обладателем серой спины, бывшей постоянно перед моими глазами. Я безразлично называл их Федоровым и Житковым и постоянно ошибался, а между тем они были совершенно не похожи друг на друга.

Федоров, ефрейтор, был молодой человек лет двадцати двух, среднего роста, стройно, даже изящно сложенный. У него было правильное, будто выточенное лицо, с очень красиво очерченными носом, губами и подбородком, покрытым белокурой курчавой бородкой, и с веселыми голубыми глазами. Когда кричал: «песенники, вперед!», он бывал запевалой нашей роты и чисто выводил грудным тенором, на высоких нотах прибегая к высочайшему фальцету:

...Царя тре-е-буют в сенат!

Он был уроженец Владимирской губернии, с детства попавший в Петербург. Что редко случается, петербургская «образованность» не испортила его, но только отшлифовала, научив, между прочим, читать газеты и говорить всякие мудреные слова.

— Конечно, Владимир Михайлович, — говорил он мне, — я могу иметь рассуждения больше, чем дядя Житков, так как Питер оказал на меня свое влияние. В Питере цивилизация, а у них в деревне одно незнание и дикость. Но, однако, как они человек пожилой и, можно сказать, виды видевший и перенесший различные превратности судьбы, то я не могу на них орать, например. Ему сорок лет, а мне двадцать третий. Хотя я в роте и ефрейтор.

Дядя Житков — коренастый, необыкновенной силы мужик, всегда мрачного вида. Лицо у него было темное, скуластое, глаза маленькие, смотревшие исподлобья. Он никогда не улыбался и редко говорил. Он был плотник по ремеслу и находился в бессрочном отпуску, когда мобилизовали нашу армию. До чистой отставки ему оставалось всего несколько месяцев; началась война, и Житков пошел в поход, оставив дома жену и пятерых ребятишек. Несмотря на непривлекательную наружность и вечную мрачность, в нем было что-то влекущее, доброе и сильное. Теперь мне кажется совершенно непонятным, как я мог смешивать этих соседей, но в первые два дня оба мне казались одинаковыми: серыми, навьюченными, уставшими и продрогшими.

Всю первую половину мая шли непрерывные дожди, а мы двигались без палаток. Бесконечная глинистая дорога подымалась на холм и спускалась в овраг чуть ли не на каждой версте. Идти было тяжело. На ногах комья грязи, серое небо низко повисло, и непрерывно сеет на нас мелкий дождь. И нет ему конца, нет надежды, придя на ночлег, высушиться и отогреться: румыны не пускали нас в жилье, да им и негде было поместить такую массу народа. Мы проходили город или деревню и становились где-нибудь на выгоне.

— Стой!.. Составь!

И приходилось, поевши горячей похлебки, укладываться прямо в грязь. Снизу вода, сверху вода; казалось, и тело все пропитано водой. Дрожишь, кутаешься в шинель, понемногу начинаешь согреваться влажною теплотой и крепко засыпаешь опять до проклинаемого всеми генерал-марша. Снова серая колонна, серое небо, грязная дорога и печальные мокрые холмы и долины. Людям приходилось трудно.

— Растворились все хляби небесные, — со вздохом говорил наш полувзводный унтер-офицер Карпов, старый солдат, сделавший хивинский поход. — Мокнем, мокнем без конца.

— Высохнем, Василь Карпыч! Вот солнышко выглянет, всех высушит. Поход долог: поспеем и высохнуть и вымокнуть, пока дойдем. Михайлыч! — обращается сосед ко мне: — далече ли до Дунаю-то?

— Недели три еще пройдем.

— Три недели! Да две идем вот...

— Идем к черту в лапы, — проворчал дядя Житков.

— Чего ты там, старый черт, ворчишь? Народ смущаешь! К какому черту в лапы? Почему ты такое производишь?

— На праздник, что ли, идем? — огрызнулся Житков.

— Не на праздник, а как должны исполнять присягу!.. Ты что, когда присягал, говорил? «Не щадя живота!..» А! Старый дурак! Ты смотри у меня!

— Что ж я сказал, Василь Карпыч? Нешто не иду! Помирать, так помирать... все одно...

— То-то! Поговори еще!

Житков молчит; лицо его становится еще мрачнее. Да и всем вообще не до разговоров: идти было слишком тяжело. Ноги скользят, и люди часто падают в липкую грязь. Крепкая ругань раздается по батальону. Один Федоров не вешает носа и без усталости рассказывает мне историю за историей о Петербурге и деревне.

Однако всему бывает конец. Однажды, проснувшись утром на бивуаке около деревни, где была назначена дневка, я увидел голубое небо, белые мазанки и виноградники, ярко залитые утренним солнцем, услышал повеселевшие живые голоса. Все уже встали, обсушились и отдыхали от тяжелого полуторанедельного похода под дождем без палаток. Во время дневки привезли и их. Солдаты тотчас же принялись натягивать их и, устроив все как следует, забив колышки и натянув полотнища, почти все улеглись под тень.

— От дождя не помогли, от солнышка сберегут.

— Да, чтобы личико у барина не почернело, — пошутил Федоров, лукаво подмигивая в мою сторону.

II

В нашей роте было всего два офицера: ротный командир — капитан Заикин и субалтерн-офицер — прапорщик Стебельков. Ротный был человек средних лет, толстенький и добрый; Стебельков — юноша, только что выпущенный из училища. Жили они дружно; капитан приголубил прапорщика, поил и кормил его, а во время дождей даже прикрывал под своим единственным гуттаперчевым плащом. Когда роздали палатки, наши офицеры поместились вместе, а так как офицерские палатки были просторны, то капитан решил поселить с собою и меня.

Утомленный бессонною ночью (накануне наша рота была назначена к обозу, и мы всю ночь вытаскивали его из рытвин и даже вывозили при помощи «Дубинушки» из разлившейся речки), я крепко уснул после обеда. Денщик ротного командира разбудил меня, осторожно трогая за плечо.

— Барин Иванов! Барин Иванов! — шептал он, как будто не хотел разбудить меня, а, напротив, всеми силами старался не нарушить моего сна.

— Что вам?

— Ротный требуют. — И видя, что я надеваю португепю со штыком, прибавил: — Они сказали: веди в чем есть.

В палатке Заикина собралась целая компания. Кроме хозяев, было еще два офицера: полковой адъютант и командир стрелковой роты Венцель. В 1877 году батальон состоял не из четырех, как теперь, а из пяти рот; на походе стрелковая рота шла сзади, так что наша рота своими последними рядами соприкасалась с ее первыми. Мне приходилось идти почти между стрелками, и я уже несколько раз слышал от них самые дурные отзывы о штабс-капитане Венцеле. Все четверо сидели вокруг ящика, заменявшего стол и занятого самоваром, посудую и бутылкою, и пили чай.

— Господин Иванов! Пожалуйста, пожалуйста! — закричал капитан. — Никита! Чашку, кружку, стакан, что там у тебя есть! Подвинься, Венцель; пусть он присаживается.

Венцель встал и весьма любезно поклонился. Это был сухощавый, небольшого роста молодой человек, бледный и нервный.

«Какие у него беспокойные глаза и какие тонкие губы!» — пришло мне тогда в голову.

Адъютант, не вставая, протянул мне руку.

— Лукин, — коротко отрекомендовался он.

Мне было неловко. Офицеры молчали; Венцель прихлебывал чай с ромом; адъютант пыхтел коротенькой трубкой; прапорщик Стебельков, кивнув мне головою, продолжал читать растрепанный том какого-то переводного романа, со-вершившего в его чемодане поход из России за Дунай и вернувшегося впоследствии в еще более растрепанном виде в Россию. Хозяин налил большую глиняную кружку чаю и влил в него огромную порцию рому.

— Натек-ка, господин студент! Вы на меня не сердитесь: я человек простой. Да и все мы здесь, знаете, люди простые. А вы человек образованный; значит, должны нас извинить. Так, что ли?

И он своею огромною рукою схватил мою руку сверху, как хищная птица хватает добычу, и несколько раз потряс ее в воздухе, нежно смотря на меня выпученными и округлившимися маленькими глазами.

— Вы студент? — спросил Венцель.

— Да, бывший, господин капитан.

Он улыбнулся и поднял на меня свой беспокойный взор. Мне вспомнились солдатские рассказы, но в ту минуту я усомнился в их правдивости.

— Зачем это «господин капитан»? Здесь, в палатке, вы свой между своими. Здесь вы просто интеллигентный человек между такими же, — тихо сказал он.

— Интеллигентный, это верно! — закричал Заикин: — студент! Люблю студентов, хоть они и бунтовщики. Сам был бы студентом, если бы не судьба.

— Какая ж такая у тебя особенная судьба, Иван Платоныч? — спросил адъютант.

— Да подготовиться никак не мог. Ну, математика еще туда-сюда, а уж насчет другого чего — не идет, да что хочешь. Словесность эта... Правописание... Так и в юнкерском училище писать не научился. Ей-богу!

— Знаете, господин студент, — сказал адъютант между двумя огромными выpuшенными им клубами дыма, — как Иван Платоныч в слове «еще» четыре ошибки делает?

— Ну, ну, не ври, тетенька! — Заикин отмахнулся рукой.

— Право, не вру. «И», «эс», «ша», «о» — как это вам покажется?

И адъютант громко расхохотался.

— Дери плотку. Сам тоже... еще адъютант! «Стол» через ять пишет.

Адъютант совсем залился; прапорщик Стебельков, только что хлебнувший чаю, прыснул им на свой роман и потушил одну из двух свечей, освещавших палатку; я тоже не мог удержаться от смеха. Иван Платоныч, более всех довольный своей остротой, гремел раскатами басистого хохота. Один Венцель не смеялся.

— Так словесность, Иван Платоныч? — по-прежнему тихо спросил он.

— Словесность, словесность... Ну, и прочее. Знаете, как некто географию прошел до «экватора», а историю до «эры». Да нет! Это все ерунда, не в том дело. А просто деньжонки водились, ну и прожигал жизнь. Ведь я, Иванов... позвольте имя и отчество?..

— Владимир Михайлыч.

— Владимир Михайлыч! Ладно... Ведь я беспутная голова был смолоду. Чего только не выкидывал! Ну, знаете, как в песне поется: «жил я, мальчик, веселился и имел свой капитал; капиталу, мальчик, я решился и в неволю жить попал». Поступил юнкером в сей славный, хотя глубоко армейский полк; послали в училище, кончил с грехом пополам, да вот и тяну лямку второй десяток лет. Теперь вот на турку прем. Выпьемте, господа, натурального. Стоит ли его чаем портить? Выпьем, господа «пушечное мясо».

— Çaig a canon, — перевел Венцель.

— Пускай шер а канон, пускай по-французски. Капитан у нас умный, Владимир Михайлыч: языки знает и разные немецкие стишки наизусть долбит. Слушайте, юноша! Я вас затем позвал, чтобы предложить вам перебраться ко мне в палатку. Там ведь вам шестером с солдатами тесно и скверно. Насекомые. Все-таки у нас лучше...

— Благодарю вас, только позвольте отказаться.

— Это отчего? Вздор! Никита! Тащи его ранец! Вы в которой палатке?

— Вторая с правой стороны. Только все-таки позвольте мне остаться там. Мне ведь с солдатами больше бывать приходится. Лучше уж совсем с ними.

Капитан внимательно посмотрел на меня, как будто бы хотел прочитать мои мысли. Подумав, он сказал:

— Вы что же, в дружбе с ними состоять хотите?

— Да, если это будет возможно.

— Верно. Не перебирайтесь. Уважаю.

И он сгреб своей ручищей мою руку и начал трясти ее в воздухе.

Немного времени спустя я распрощался с офицерами и вышел из палатки. Вечерело; люди одевались в шинели, приготавлиаясь к зоре. Роты выстроились на линейках, так что каждый батальон образовал замкнутый квадрат, внутри которого были палатки и ружья в козлах. В тот же день, благодаря дневке, собралась вся наша дивизия. Барабаны пробили зорю, откуда-то издали послышались слова команды:

— Полки, на молитву, шапки долой!

И двенадцать тысяч человек обнажили головы. «Отче наш, иже еси на небесах», — начала наша рота. Рядом тоже запели. Шестьдесят хоров, по двести человек в каждом, пели каждый сам по себе; выходили диссонансы, но молитва все-таки звучала трогательно и торжественно. Понемногу начали затихать хоры; наконец далеко, в батальоне, стоявшем на конце лагеря, последняя рота пропела: «но избави нас от лукавого». Коротко пробили барабаны.

— Накройсь!

Солдаты укладывались спать. В нашей палатке, где, как и в других, помещалось шестеро на пространстве двух квадратных сажен, мое место было с краю. Я долго лежал, смотря на звезды, на костры далеких войск, слушая смутный и негромкий шум большого лагеря. В соседней палатке кто-то рассказывал сказку, беспрестанно повторяя слова «наконец того», произнося не «того», а «того».

— Наконец того, приходит тот принц к своей супруге и начал ей про все выговаривать. Наконец того, она... Лютиков, спишь, что ли?.. Ну, спи, Христос с тобой, господи, царица небесная... Преподобных отец наших... шепчет рассказчик и стихает.

В офицерской палатке тоже говор. По освещенному изнутри полотну двигаются огромные и уродливые тени сидящих в палатке офицеров. Изредка слышен взрыв хохота: это заливается адъютант. По линейке ходит туда и сюда часовой с ружьем; напротив нас, на бивуаке недалеко стоящей артиллерии, тоже часовой, с обнаженной шашкой. Оттуда изредка слышен топот лошадей у коновязей, их фырканье, слышно, как они мирно жуют овес, с таким же добродушным шурханьем, какое мне случалось слышать не на войне, а где-нибудь на постоялом дворе на родине, в такую же тихую звездную ночь. Семь звезд Большой Медведицы блестили низко над горизонтом, гораздо ниже, чем у нас. Смотри на Полярную звезду, я думал, что именно в этом направлении должен быть Петербург, где я оставил мать, друзей и все дорогое. Над головою блестили знакомые созвездия; Млечный Путь не тускло светился, а сиял ясною, торжественно-спокойною полосой света. На юге какие-то большие звезды незнакомо, не видимого у нас созвездия горели, одна красным, другая зеленоватым огнем. Мне думалось: «Когда мы пойдем дальше, за Дунай, за Балканы, в Константинополь, увижу ли я тогда еще новые звезды? И какие они?»

Спать не хотелось; я встал и начал бродить по сырой траве между нашим батальоном и артиллерией. Темная фигура поравнялась со мною, гремя саблею;

по ее звуку я догадался, что это офицер, и вытянулся во фронт. Офицер подошел ко мне и оказался Венцелем.

— Не спится, Владимир Михайлыч? — спросил он мягким и тихим голосом.

— Не спится, господин капитан.

— Меня зовут Петр Николаевич... И мне тоже не спится. Сидел, сидел у вашего командира, надоело: засели за карты, да и перепились все... Ах, какая ночь!

Он пошел рядом со мною; дойдя до конца линейки, мы повернули назад и прошли несколько раз взад и вперед молча. Венцель начал первый.

— Скажите мне, вы пошли в поход по собственному желанию?

— Да.

— Что же влекло вас?

— Как вам сказать? — ответил я, не желая вдаваться в подробности. Больше всего, конечно, желание поиспытать, посмотреть.

— И, вероятно, изучить народ в лице его представителя — солдата? — спросил Венцель.

Было темно, и я не видел выражения его лица, но слышал в голосе иронию.

— Куда уж тут изучать! До изучения ли, когда думаешь только о том, как бы дойти до привала да заснуть!

— Нет, без шуток. Скажите мне, отчего вы не перебрались к вашему командиру? Неужели вы дорожите мнением этого мужичья?

— Конечно, дорожу, как мнением всех, кого у меня нет причины не уважать.

— Не имею причины вам не верить. Да, впрочем, ведь теперь такая полоса нашла. И литература — и та возводит мужика в какой-то перл творения.

— Кто говорит о перлах творения, Петр Николаевич! Признавали бы человека, и то ладно.

— Ах, полноте, пожалуйста, с жалкими словами! Кто его не признает? Человек? — ну, пусть будет человек; какой? — это другой вопрос... Давайте, поговорим о другом.

Мы действительно разговорились. Венцель, видимо, очень много читал и, как сказал Заикин, знал и языки. Замечание капитана о том, что он «стихи долбит», тоже оказалось верным: мы заговорили о французах, и Венцель, обругав натуралистов, перешел к сороковым и тридцатым годам и даже с чувством продекларировал «Декабрьскую ночь» Альфреда де Мюссе. Он читал хорошо: просто и выразительно и с хорошим французским выговором. Кончив, он помолчал и прибавил:

— Да, это хорошо; но все французы вместе не стоят десяти строк Шиллера, Гёте и Шекспира.

Заведуя полковой библиотекой, пока не принял роту, он прилежно следил и за русской литературой. Говоря о ней, он строго осудил, как он выразился, «сиволапое направление». От этого замечания разговор вернулся к прежнему предмету. Венцель спорил горячо.

— Когда я, почти мальчиком, поступил в полк, я не думал того, что говорю вам теперь. Я старался действовать словом, я старался приобрести нравственное влияние. Но прошел год, и они вытянули из меня все жилы. Все, что осталось от так называемых хороших книжек, столкнувшись с действительностью, оказалось сентиментальным вздором. И теперь я думаю, что единственный способ быть понятым — вот!

Он сделал какой-то жест рукою. Было так темно, что я не понял его.

— Что ж это, Петр Николаич?

— Кулак! — отрезал он. — Прощайте, однако, пора спать.

Я сделал ему под козырек и побрел к своей палатке. Мне было и больно и противно.

В палатке, казалось, уже все спали; но минуты через две после того, как я лег, Федоров, спавший рядом со мною, тихо спросил:

— Михайлыч, спите?

— Нет, не сплю.

— С Венцелем ходили?

— С ним самым.

— Что ж он с вами как? Смирный?

— Ничего, смирный, даже любезен.

— Ишь ты ведь! Что значит свой брат-барин! Не то, что с нами.

— А что? Разве очень сердит?

— И-и-и... беда! Трещат скулы во второй стрелковой. Зверь!

И он сейчас же уснул, так что в ответ на мой следующий вопрос я услышал только его ровное и спокойное дыхание. Я завернулся в шинель; в голове все спуталось и исчезло в крепком сне.

III

За дождями наступили жары. Около этого времени мы вышли с проселка, где ноги вязли в расползавшейся почве, на большое шоссе, ведущее из Ясс в Бухарест. Первый наш переход по шоссе, от Текуча к Берладу, навсегда останется в памяти сделавших его. Было тридцать пять градусов в тени; переход был сорок восемь верст. Было тихо; мелкая известковая пыль, поднимаемая тысячами ног, стояла над шоссе; она лезла в нос и рот, пудрила волосы, так что нельзя было разобрать их цвета; смешанная с потом, она покрыла все лица грязью и превратила всех в негров. Почему-то мы шли тогда не в рубахах, а в мундирах. Солнце нагревало черное сукно, невыносимо пекло головы сквозь черные кепи; ноги чувствовали сквозь подошву раскаленный щебень шоссе. Люди задыхались. На беду, колодцы были редки, и в большей части их было так мало воды, что голова нашей колонны (шла целая дивизия) вычерпывала всю воду, и нам, после страшной давки и толкотни у колодцев, доставалась только глинистая жидкость, скорее грязь, чем вода. Когда не хватало и ее, люди падали. В этот день в одном нашем батальоне упало на дороге около девяноста человек. Трое умерло от солнечного удара.

Я выносил эту пытку сравнительно с другими легко. Может быть, потому, что наш полк был набран большею частью из северян, а я с детства привык к степным жарам; а может быть, тут действовала и иная причина. Мне случалось заметить, что простые солдаты вообще принимают физические страдания ближе к сердцу, чем солдаты из так называемых привилегированных классов (говорю только о тех, кто пошел на войну по собственному желанию). Для них, простых солдат, физические беды были настоящим горем, способным наводить тоску и вообще мучить душу. Те же люди, которые шли на войну сознательно, хотя физически страдали, конечно, не меньше, а больше солдат из простых людей, вследствие изнеженного воспитания, сравнительной телесной слабости и проч., — но душевно были спокойнее. Душевный мир их не мог быть нарушен избитыми в кровь